

**Б. Л. МОДЗАЛЕВСКИЙ**

**ПУШКИН**

**И ЕГО СОВРЕМЕННОКИ**

Избранные труды  
(1898—1928)

Санкт-Петербург  
«Искусство—СПБ»

## Пушкин и Лажечников

*(Из галереи современников и знакомцев Пушкина)*

Одною из отличительных черт всеобъемлющей души Пушкина была его исключительная и вполне сознательная благожелательность, сердечное доброжелательство, при полном отсутствии зависти к кому бы то ни было, — в частности, к литературным собратьям<sup>1</sup>. Появление всякого нового таланта среди немногочисленной в его время писательской семье всегда искренно радовало его, за каждым молодым дарованием он следил с повышенным, всегда благожелательным вниманием. Чувства, которые питал Сальери к Моцарту, были понятны и столь тонко обрисованы Пушкиным лишь благодаря особенно чуткой исключительной его интуиции, способности перевоплощения, — ибо сам он был абсолютно чужд завистливых движений сердца, как ни близко подчас задевали его те или иные литературные явления, ставившие перед ним вопрос о возможности соперничества. Уже не раз отмечалось на редкость восторженное отношение Пушкина к появлению таких талантов в поэзии, как Боратынский, Языков; известна та повышенная радость, с какою он, уже признанный первый поэт, встречал успехи этих своих младших современников, — которые, как нам теперь известно, вовсе не так спокойно относились к произведениям Пушкина и к нему самому, творцу этих произведений... То же, что было в области поэтического творчества, наблюдается и в области про-

---

<sup>1</sup> По свидетельству П. А. Плетнева (см.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 495), Пушкин, незадолго до смерти, на прогулке, сказал, что выше всего в человеке он ставит качество благоволения ко всем. О доброжелательстве Пушкина, как основном мотиве его творчества и личного характера, см. особый этюд Н. Ф. Сумцова в «Журнале для всех» (1899. № 5. С. 549—556).

зы<sup>1</sup>, критики, историографии; каждый истинный талант или дарование встречаются Пушкиным с сердечностью, чистой радостью. Он дает отзывы о них и в печати, и в своих письмах — самим ли авторам или к третьим лицам. Благожелательство, впрочем, не ослепляло его, не мешало ему видеть недостатки там, где они были, клеймить всеми доступными средствами порок или бездарность всюду, где он их замечал: но все положительное, что встречал Пушкин, он принимал с беспристрастным доброжелательством, приветствовал от души, как шаг вперед — к достижению недостижимого, но всегда влекущего к себе идеала.

В настоящей заметке мы хотим напомнить читателям один из многочисленных, почти бесчисленных примеров такого доброжелательства Пушкина: пример этот касается современника Пушкина, — известного когда-то писателя и одного из благороднейших, честнейших и чистейших людей своей эпохи. Мы имеем в виду пользовавшегося в свое время громкою славою исторического романиста, — «Русского Вальтера Скотта», как называли его некогда, — Ивана Ивановича Лажечникова, великого поклонника и подражателя славного шотландского писателя<sup>2</sup>. Некогда имя его пользовалось широчайшей известностью, произведениями своими он сразу завоевал себе одно из самых блестящих мест в литературном мире; его роман «Последний Новик» был признан не только лучшим из русских исторических романов, но произведением, которое сделало бы честь любой европейской литературе... От сношений его с Пушкиным дошло до нас, правда, немного — несколько писем и небольшие воспоминания Лажечникова, но это немногое дает нам достаточный материал для того, чтобы восстановить характер их взаимных отношений, отметить, с каким добрым чувством встречал поэт литературный успех первого исторического романиста, а притом с благодарностью вспомнить и о самом Лажечникове — прекрасном чело-

<sup>1</sup> См., например, отношение к князю В. Ф. Одоевскому (1831) — Русская старина. 1904. № 4. С. 206. Пушкин «бесился», что мало обращали внимания на новую повесть Одоевского «Последний квартет Бетховена», и находил, что автор в этой пьесе доказал истину весьма для России радостную, — а именно, что возникают у нас писатели, которые обещают стать наряду с прочими европейцами, выражающими мысли нашего века.

<sup>2</sup> «И теперь, после того, как прошло 30 лет с того времени, как я читал романы Вальтер-Скотта, — писал в 1853 г. Лажечников Ф. А. Кони, — все лица его резко выступают перед вами; это ваши родные, ваши друзья, которых черты вы никогда не забудете» (Русский архив. 1912. Кн. 3. С. 142).

веке и честном писателе, оставившем яркий, хоть и не слишком глубокий след в истории нашей словесности<sup>1</sup>.

Первое знакомство Лажечникова с Пушкиным состоялось при совершенно исключительных обстоятельствах, о которых дошел до нас двойной рассказ самого Лажечникова — в одном его письме к поэту и в близко повторяющем рассказ этого письма отрывке из воспоминаний его о Пушкине. Обстоятельства эти настолько исключительны и характерны для молодого Пушкина, что нельзя отказать себе в удовольствии передать хотя бы часть рассказа Лажечникова, — тем более что очень ценные по некоторым подробностям воспоминания его о Пушкине мало кому знакомы<sup>2</sup>.

Свой рассказ Лажечников начинает с повествования о том, как в августе 1819 г. он приехал в первый раз в Петербург и остановился в доме своего начальника, графа А. И. Остермана-Толстого (при котором был тогда адъютантом), на Английской набережной, недалеко от Сената; дом этот занимал целый квартал и другим своим фасадом выходил на Галерную улицу. Молодой, двадцатисемилетний поручик гвардейского Павловского полка, совершивший все походы великой войны с Наполеоном 1812—1814 гг. и бывший при взятии Парижа русскими войсками, насквозь проникнутый романтическими настроениями той бурной эпохи и острым патриотическим чувством, Лажечников прибыл в Петербург человеком, уже получившим литературное крещение и лично знакомым с несколькими виднейшими тогда писателями — Гречем, Воейковым, С. и Ф. Глинками, Денисом Давыдовым, Жуковским, Вяземским и некоторыми другими авторами-современниками. Вспоминая о каждом из них и об обстоятельствах, при которых он познакомился с ними, Лажечников писал

---

<sup>1</sup> Лишний повод к такому напоминанию дает нам то обстоятельство, что Лажечников был крестным отцом нашего недавнего юбиляра Анатолия Федоровича Кони, который посвятил воспоминанию о Лажечникове несколько весьма тепло написанных страниц 1-й части 3-го тома своей книги «На жизненном пути» (Ревель; Берлин, 1922. С. 235—244). Одиннадцать писем Лажечникова к отцу А. Ф. Кони — Федору Алексеевичу Кони, за 1841—1867 гг., опубликованы в «Русском архиве» (1912. Кн. 3. С. 141—151); в последнем из них, от 30 октября 1867 г., Лажечников с большим сочувствием говорил о своем крестнике: «Молодой человек многообещающий. Он дал мне слово нас навещать; умная беседа его и для меня, старого, будет очень приятна» и т. д.

<sup>2</sup> Они напечатаны были впервые в «Русском вестнике» (1856. Т. 1. № 4. С. 603—622), а затем перепечатывались в Собраниях сочинений Лажечникова (СПб., 1858. Т. 7; СПб.; М., 1884. Т. 7, СПб.; М., 1899. Т. 1).

в своих воспоминаниях: «Но я еще нигде не успел видеть молодого Пушкина, издавшего в зиму 1819/1820 г. „Руслан и Людмила“<sup>1</sup>, — Пушкина, которого мелкие стихотворения, наскоро, на лоскутках бумаги, карандашом переписанные, разлетались в несколько часов огненными струями во все концы Петербурга и в несколько дней Петербургом вытверживались наизусть, — Пушкина, которого слава росла не по дням, а по часам. Между тем я был одним из восторженных его поклонников». Затем Лажечников приступает к рассказу о том собственно «необыкновенном случае», который доставил ему знакомство с молодым, но уже широко известным поэтом.

Лажечников жил в той части дома Остермана-Толстого, которая выходила на Галерную улицу, в двух комнатах нижнего этажа, но первую от входа, за несколько дней до описываемых событий, он уступил приехавшему в Петербург майору Денисевичу<sup>2</sup> — человеку малообразованному, старозаветному, фанфарону, с большим самомнением. «В одно прекрасное (помнится, зимнее) утро, — рассказывает Лажечников, — было ровно три четверти восьмого, — только что успев окончить свой военный туалет, я вошел в соседнюю комнату, где обитал мой майор, чтоб приказать подавать чай. Денисевича не было в это время дома; он уходил смотреть, все ли исправно на графской конюшне. Только что я ступил в комнату, — из передней вошли в нее три незнакомые лица. Один был очень небольшой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с *арабским профилем*, во фраке. За ним выступали два молодца, красавцы, кавалерийские гвардейские офицеры, погромыхивая своими шпорами и саблями... Статский подошел ко мне и сказал мне тихим вкрадчивым голосом; „Позвольте вас спросить, здесь живет Денисевич?“ — „Здесь, — отвечал я — но он вышел куда-то и я велю позвать его“. Я только что хотел это исполнить, как вошел сам Денисевич».

Из происшедшего между молодым статским и майором разговора Лажечников узнал, что накануне вечером, в театре, Денисевич обидел этого статского своими замечаниями по поводу его поведения,

<sup>1</sup> Следует исправить утверждение Лажечникова: к зиме 1819/20 г. поэма «Руслан и Людмила» совсем еще не была знакома читателям: лишь осенью 1820 г. появились из нее три отрывка в журналах, вся же поэма вышла в свет уже после ссылки поэта на юг, — а именно в конце июля — начале августа 1820 г.

<sup>2</sup> В воспоминаниях своих Лажечников скрыл имя Денисевича под буквами NN, — но назвал его полностью в письме своем к Пушкину от 13 декабря 1831 г.

которое сильно возмутило сидевшего рядом с ним майора: молодой человек, которому исполнявшаяся пьеса не нравилась, зевал, шикал, говорил громко: «Несносно» и т. д. Майор сначала молчал, но потом, выведенный из терпения, сказал соседу, что он мешает ему слушать пьесу (которая ему, по-видимому, очень нравилась). Молодой человек искоса взглянул на Денисевича и принялся шуметь по-прежнему. Тут Денисевич объявил своему неугомонному соседу, что попросит полицию вывести его из театра. «Посмотрим», — отвечал тот хладнокровно — и продолжал повесничать. По окончании спектакля и при выходе уже из театра майор остановил своего соседа статского и, подняв указательный палец, сказал ему: «Молодой человек, вы мешали мне слушать пьесу... Это неприлично, это невежливо». — «Да, я не старик, — отвечал тот, — но, господин штаб-офицер, еще невежливее здесь и с таким жестом говорить мне это. Где вы живете?» Денисевич сказал свой адрес и назначил приехать к нему в восемь часов утра, не подозревая, что тем самым формально вызывал своего противника на дуэль. Из разговора, последовавшего затем в квартире Лажечникова, последний узнал, что приехавший к Денисевичу в сопровождении двух офицеров и с целью драться с майором на дуэли молодой человек был не кто иной, как Пушкин... «При имени Пушкина, — пишет Лажечников, — блеснула в голове моей мысль, что передо мною стоит молодой поэт, таланту которого уж сам Жуковский поклонялся, корифей всей образованной молодежи Петербурга, и я спешил спросить его: „Не Александра ли Сергеевича имею честь видеть перед собою?“

— Меня так зовут, — сказал он, улыбаясь.

„Пушкину, — подумал я, — Пушкину, автору «Руслана и Людмилы», автору стольких прекрасных мелких стихотворений, которые мы так восторженно затвердили, — будущей надежде России, погибнуть от руки какого-нибудь Денисевича или убить какого-нибудь Денисевича и жестоко пострадать... нет, этому не бывать! Во что бы ни стало устрою мировую, хотя бы и пришлось немного покривить душой“».

И действительно, уведя Денисевича в свою комнату и «потратив ораторского пороку довольно», Лажечников так запугал майора перспективою возможных последствий дуэли с сыном «знатного человека», что заставил его извиниться перед Пушкиным и, таким образом, предотвратил дуэль. Денисевич протянул было даже Пушкину руку, но тот не подал ему своей, сказал только: «Извиняю» — и уда-

лился со своими спутниками. «Скажу откровенно, — вспоминает Лажечников, — подвиг мой испортил мне много крови в этот день... Но теперь, когда прошло тому тридцать шесть лет, я доволен, счастлив, что на долю мою пришлось совершить его. Если б я не был такой жаркий поклонник поэта, уже и тогда предузнавшего свое будущее величие; если б на месте моем был другой, не столь мягкосердный служитель музыки, а черствый, браннолюбивый воин, который вместо того, чтобы потушить пламя раздора, старался бы еще более раздуть его; если б я повел дело иначе, перешел только через двор к одному лицу, может быть Пушкина не стало бы еще в конце 1819 года, и мы не имели тех великих произведений, которыми он подарил нас впоследствии. Да, я доволен своим делом, хорошо или дурно оно было исполнено. И я ныне могу сказать, как старый капитан Беранже:

Puis, moi, j'ai servi le grand homme!<sup>1</sup>

...Через несколько дней увидал я Пушкина в театре, — заключает Лажечников свой рассказ об эпизоде с майором Денисевичем. — Он первый подал мне руку, улыбаясь. Тут я поздравил его с успехом „Руслана и Людмилы“<sup>2</sup>, на что он отвечал мне: „О! это первые грехи моей молодости!“ — „Сделайте одолжение, вводите нас почаще такими грехами в искушение“, — отвечал я ему».

После описанного поистине необычайного эпизода, познакомившего столь случайно молодого поэта с одним из многих его пламенных поклонников<sup>3</sup>, пути их обоих резко и надолго разошлись: Пушкин успел отбыть свою ссылку на юге и заключение в михайловском уединении, дождался «освобождения» и вызова в Москву во время коронации, провел и бурные 1826—1830 гг., заполненные у него многочисленными поездками по России и по Кавказу, — наконец, пережил период увлечения Гончаровой и женился на ней; в сфере

<sup>1</sup> Что до меня, то я служил великому человеку (*франц.*)

<sup>2</sup> Напомним еще раз, что Лажечников ошибается насчет хронологии событий: «Руслан и Людмила» вышла в свет уже после высылки Пушкина из Петербурга, так что речь может идти о встрече с Пушкиным не в конце 1819 г., а лишь весной 1820 г., после появления в журналах трех отрывков поэмы; кое-что из нее Лажечников мог знать, конечно, и из рукописных копий, которые могли ходить по городу и раньше появления поэмы в печати.

<sup>3</sup> Об этой встрече с Пушкиным Лажечников упоминает даже в своей краткой автобиографии (Известия книжных магазинов М. О. Вольфа. 1899. № 9—10. С. 183): такое значение он придавал этому эпизоду.

поэтической — создал все свои поэмы «Онегина», «Бориса Годунова», маленькие драмы и многие другие перлы своего творчества; Лажечников же из гвардейского офицера с большим боевым формуляром давно уже — с конца 1820 г. — превратился в мирного работника на ниве народного просвещения, в должностях директора Пензенских училищ, Казанской гимназии и, с 5 марта 1831 г., училищ Тверской губернии. Одним словом, прошло более десятка лет прежде, чем между Пушкиным и Лажечниковым вновь завязались отношения, хотя и заочные, и кратковременные.

Давно уже — еще с 1826 г. — работая над созданием исторического романа на тему из русской истории<sup>1</sup>, Лажечников в конце 1831 г. выпустил в свет два тома своего «Последнего Новика». Успех его был большой, совершенно исключительный. Ободренный этим успехом, скромный Лажечников послал свои книжки Пушкину, снабдив их трогательной надписью: «Первому Поэту Русскому Александру Сергеевичу Пушкину с истинным уважением и совершенною преданностью подносит Сочинитель. 18 декабря 1831. Тверь»<sup>2</sup> — и предварив не менее трогательным письмом, в котором вспомнил о своем участии в мирном окончании ссоры Пушкина с майором Денисевичем. «Милостивый государь Александр Сергеевич! — писал Лажечников из Твери 19 декабря 1831 г. — Волею, или неволею, займу несколько строк в истории Вашей жизни. Вспомните малоросца Денисевича с блестящими, жирными эполетами и с душою трубочиста, вызвавшего вас в театре на честное слово и дело за неуважение к Его Высокоблагородию; вспомните утро в доме графа Остермана, в Галерной, с Вами двух молодцов Гвардейцев, ростом и духом исполинов, бедную фигуру малоросца, который на вопрос Ваш: приехали ли Вы *во время*? отвечал нахохлившись, как индейский петух, что он звал Вас к себе не для благородной разделки рыцарской, а сделать Вам поучение, како подобает сидети в Театре, и что майору неприлично меряться с фрачным; вспомните крохотку-адъютанта<sup>3</sup>, от души смеявшегося этой сцене и советовавшего

<sup>1</sup> О генезисе интереса к историческому роману у Лажечникова см. в статье о нем С. А. Венгерова при издании сочинений Лажечникова (СПб.; М., 1899. Т. 1. С. XLVI и след.)

<sup>2</sup> См.: *Модзалевский Б. Л.* Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 56. Ныне этот экземпляр, как и вся библиотека поэта, находится в Пушкинском Доме Академии наук СССР.

<sup>3</sup> Лажечников был очень мал ростом.



Вам не тратить благородного пороха на такой гад и шпор иронии на ослиной коже. Малютка-адъютант был Ваш покорнейший слуга — и вот, по чему, говорю я, займу волею или неволею строчки две в Вашей истории. Тогда видел я в Вас русского дворянина, достойно поддерживающего свое благородное звание; но когда узнал, что Вы — Пушкин, творец Руслана и Людмилы и столь многих прекраснейших пьес, которые лучшая публика России твердила с восторгом на память, — тогда я с трепетом благоговения смотрел на Вас и в числе тысячей поклонников (Ваших) приносил к треножнику Вашему безмолвную дань. Загнанный безвестностью в последние ряды писателей, смел ли я сблизиться с Вами? Ныне, когда голос избранных литераторов и собственное внимание Ваше к трудам моим выдвигает меня из рядов словесников, беру смелость представить Вам моего Новика, если первый Поэт Русский прочтет его, не скучая. 3-ю часть получить изволите в первых числах февраля».

Пушкин не откликнулся на это милое письмо, — но, конечно, не почему-либо иному, как по недосугу или по причине суетливости жизни, которую он вел в первый год своей женитьбы; к тому же письмо Лажечникова пришло в Петербург, когда он был в Москве, — написать ответ своевременно он так и не собрался. Но в добром и памятном сердце своем он впечатлел и содержание письма Лажечникова, и самый факт присылки ему «Новика», который, без сомнения, он прочитал внимательно: Пушкин, как известно, сам очень интересовался историческим романом и повестью как литературным жанром, был большим поклонником Вальтера Скотта (сочинения которого любил и знал превосходно) и других европейских писателей того же типа — Дефо, Филдинга, Ричардсона, Стерна и многих других: «Арап Петра Великого» (1827), отрывки из которого появились еще в конце 1828 и в начале 1830 г., «Повести Белкина» и, наконец, «Дубровский», «Капитанская дочка», ряд набросков и планов, все эти попытки свидетельствуют о давнем и повышенном интересе к исторической повести и роману<sup>1</sup>. Он восторженно встретил выступление Загоскина и прерывал «увлекательное чтение»

<sup>1</sup> Подробности см. в статьях: *Ауслендер С. А.* Арап Петра Великого // Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1910. Т. 4. С. 104—112; *Гофман М. Л.* Капитанская дочка // Там же. С. 353—378; *Лернер Н.* Проза Пушкина. Пг. 1923. С. 29—52. О русской исторической повести типа Вальтера Скотта литература указана в книге Н. К. Пиксанова «Два века русской литературы» (М., 1923. С. 78).

«Юрия Милославского» для того, чтоб поскорее написать (11 января 1830 г.) автору несколько горячих приветственных строк; находил он достоинства и в «Рославлеве» Загоскина, романы которого вообще склонен был считать выше романов Альфреда де Виньи<sup>1</sup>. Нет сомнения, что и роман Лажечникова привлек к себе особенное внимание Пушкина, который и в данном случае проявил к автору «Новика» то исключительно благожелательное отношение, о котором мы говорили в начале нашей заметки; это благожелательство было чуждо и тени того, что французы называют *jalousie de metier* — ревностью соперничества.

Издание «Новика» — его последнего, 4-го тома — закончилось лишь в 1833 г.; по выходе 3-й части — Лажечников послал ее Пушкину из Твери через одного знакомого, который писал по этому случаю Лажечникову 19 сентября 1832 г.: «Благодарю вас за случай, который вы мне доставили увидеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забиякой... На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая же с ним, замечаешь, что у него есть тайна — его прелестный ум и знания. Ни блесок, ни жеманства в этом князе русских поэтов! Поговоря с ним, только скажешь: он умный человек. Такая скромность ему прилична». «Совестно мне повторять слова, — пишет Лажечников, — которыми подарил меня Пушкин при этом случае; но, перечитывая их ныне, горжусь ими. Почему же не погордиться похвалою Пушкина...»

Письмо Пушкина и его похвалы (если они были изложены в отдельном письме поэта, а не переданы в письме приятеля и корреспондента Лажечникова) нам, к сожалению, не известны, но мы знаем по черновику более позднего, не дошедшего до нас (или не отправленного) письма поэта к Лажечникову от первой половины 1834 г., как он относился к романисту. Благодаря Лажечникова за присылку ему, при письме от 30 марта 1834 г., рукописи Рычкова, касавшейся Пугачева, Пушкин писал, что несколько раз, проезжая через Тверь, он желал возобновить старое знакомство, но никогда не имел случая представиться Лажечникову и благодарить его — во-первых, за то «истинное наслаждение», которое он доставил ему своим первым романом («Новиком»), а во-вторых, и за внимание, которым «удосто-

---

<sup>1</sup> XIV, 187, 220—221; XV, 29, 177.

ил» его автор, прислав свою книгу. «С нетерпением ожидаем нового Вашего творения, — писал Пушкин, — из коего прекрасный отрывок читал я в альманахе Максимовича<sup>1</sup>. Скоро ли он выдет? и как вы думаете его выдать — ради Бога, не по частям», — прибавлял Пушкин, так как, по его мнению, этот способ вредит занимательности, целостности впечатления и успеху книги. «„Последний Новик“, — говорит поэт, — выводил нас из терпения перерывом появления своих частей: эти рассрочки выводят из терпения многочисленных ваших читателей и почитателей», — заключал Пушкин (XV, 127, 128).

Возвращая Лажечникову через полтора года упомянутую рукопись Рычкова и извиняясь, что еще не доставил ему экземпляра «Истории Пугачевского бунта», Пушкин писал ему в Тверь (3 ноября 1835 г.): «Позвольте, милостивый государь, благодарить вас теперь за прекрасные романы, которые все мы прочли с такою жадностью и с таким наслаждением. Может быть, в художественном отношении, *Ледяной Дом* и выше *Последнего Новика*, но истина историческая в нем не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию; но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык. За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лице мученика. Его донесение Академии трогательно чрезвычайно. Нельзя его читать без негодования на его мучителя<sup>2</sup>. О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастье быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем он имел великий ум и великие таланты» (XVI, 62).

Лажечников, в ответном письме от 22 ноября (XVI, 63—67), «счел за честь поднять перчатку», брошенную ему «таким славным литературным подвижником», — и пространно, с ссылками на исторические источники и на свидетельства очевидцев, поддерживал свою

<sup>1</sup> В альманахе М. А. Максимовича «Денница» на 1834 г. был помещен отрывок из «Ледяного дома», содержащий яркий эпизод «Ледяная статуя» (с. 129—152); другой отрывок («Язык») появился в «Телескопе» (1834. № 16).

<sup>2</sup> Рассказ о побоях, нанесенных Волынским Тредьяковскому, Пушкин внес еще в свои «Отрывки из писем, мысли и замечания», напечатанные в «Северных цветах» Дельвига на 1828 год.

точку зрения и на Волынского<sup>1</sup>, и на Тредьяковского, «педанта и подлеца», и, особенно, на Бирона, с которого «никакое перо, даже творца Онегина и Бориса Годунова, не в состоянии снять с него позорное клеймо, которое История и ненависть народная, передаваемая от поколения поколению, на нем выжгли». Оспаривал далее Лажечников и мысль Пушкина о том, что «ужасы Бироновского тиранского управления были в духе того времени и в нраве народа». «Приняв это положение, — писал он, — надобно будет все злодеяние правителей отнести к потребностям народным и времени. Признаю кнут справедливым и необходимым для нашего, русского народа за преступления его; но не понимаю, почему бы он требовал за неплатеж недоимок окачивания на морозе холодной водой и впускания под ногти гвоздей. Впрочем народ наш до Бирона и после Бирона был все тот же; думаю, что он не изменился и ныне, или очень мало изменился к лучшему. Долго еще будет ходить за современную практическую истину пословица: гром не грянет, русский не перекрестится. Решительно скажу, что чувства нравственного (и даже религиозного), как у немецкого крестьянина нашего времени, и теперь не существует в нашем народе, и до тех пор не будет, пока не подумают о *Воспитании* его те, которые должны об этом думать<sup>2</sup>. (Но об этом когда-нибудь после, и печатно, если удастся!..) И за что ж дух этого русского народа требовал ужасных Бироновских пыток? Бунтовал ли он против своей царицы или поставленных от нее властей? Нарушал ли он общественное спокойствие? — Ничего этого не было. Денег, золота требовал Бирон у этого бедного, тогда голодного народа, требовал у него бриллиантов для своей жены, роскошной жизни для себя — и народ, не в состоянии дать ни того, ни другого, должен был выдерживать всякого рода муки, как народы Колумбии, когда они отдали мучителям все свое золото и не могли ничего более дать. Почему дух времени и нравы народа не требовали Бироновских казней при Екатерине I, Петре II, Анне Леопольдовне, Елизавете, Екатерине II и ее преемниках? Народ, как мы сказали, все тот же». Свое длинное и горячо написанное письмо Лажечников кончил извинением, что ответил на строки Пушкина «целою

---

<sup>1</sup> О Волынском см. очерк Д. А. Корсакова в его книге «Из жизни русских деятелей XVIII века» (Казань, 1891).

<sup>2</sup> «Говорю это единственно из любви к моему отечеству и преданности моим царям» (осторожная оговорка Лажечникова).

скучную тетрадью». «Я хотел, — писал он, — защитить себя от несправедливых упреков и, между тем, защитить память русского патриота. Я молчал бы, — добавлял Лажечников, — если бы писал мне г. Сенковский<sup>1</sup> <...> Но ваши упреки задели меня за живое. Ответом моим хотел я доказать, что историческую верность главных лиц моего романа старался я сохранить, сколько позволяло мне поэтическое создание, ибо в историческом романе истина всегда должна уступить поэзии, если та мешает этой. Это аксиома. Вините также славу вашу за эту длинную тетрадь. Ваши похвалы так вскружили мне голову, что я в восхищении от них забыл время и записался. Искренностью моего письма хотел я также доказать то глубокое уважение, которое всегда имел к вам...»

Составляя, двадцать лет спустя, воспоминания о знакомстве с Пушкиным и приведя в них письмо поэта от 3 ноября 1835 г., которое он тогда хранил «как драгоценность», Лажечников, пользуясь копией своего ответа Пушкину (приведенного нами выше), повторил в них все возражения, которые он сделал тогда поэту. «Я крепко защищал в нем (в ответном письме. — Б. М.), — пишет он, — историческую истину, которую оспаривает Пушкин. Прежде, чем писать мои романы, я долго изучал эпоху и людей того времени, особенно главные исторические лица, которые изображал. Например, чего не перечитал я для своего „Новика“! Могу прибавить, — я был столько счастлив, что мне попадались под руку весьма редкие источники. Самую местность, нравы и обычаи страны списывал я во время моего двухмесячного путешествия, которое сделал, проехав Лифляндию<sup>2</sup> вдоль и поперек, большею частью по проселочным дорогам. Также добросовестно изучил я главные лица моего „Ледяного дома“ на исторических данных и достоверных преданиях». Поэтому упреки Пушкина по своему адресу он считал незаслуженными и продолжал отстаивать свою точку зрения и на действующих лиц своего романа, и вообще на описанную им эпоху. Впрочем, он должен был сознаться, что по отношению к Тредьяковскому он был не совсем справедлив и что Волынский действительно поступил с ним жестоко, даже бесчеловечно; однако не соглашался с Пушкиным в том, что Тредьяковский достоин уважения потомства... По поводу же своих возра-

---

<sup>1</sup> Критику которого он «не ставил ни во что».

<sup>2</sup> Действие «Последнего Новика» развивается на фоне событий, относящихся к завоеванию Лифляндии при Петре Великом.

жений Пушкину на его суждения о Бироне Лажечников писал, что оправдание поэтом Бирона он считал «непостижимою» для него «*обмолвкой* великого поэта». «Винюсь, — говорит он, — я принял горячо к сердцу *обмолвку* Пушкина — особенно на счет духа времени и нравов народа, требовавших будто казней и угнетения, и слова, которые я употребил в возражении на нее, были напитаны горечью. Один из моих приятелей, прочитав мой ответ, сказал, что я не поскупился в нем на резкие выражения, которые можно и должно было написать — только не Пушкину. „Рассердился ли он за них?“ — спросил меня мой приятель. „Я сам так думал, не получая от него долго никакого известия“, — отвечал я. „Но Пушкин был не из тех себялюбивых чад века, которые свое я ставят выше истины. Это была высокая, благородная натура. Он понял, что мое негодование излилось в письме к нему из чистого источника, что оно бежало неудержимо через край души моей, и не только не рассердился за выражения, которыми другой мог бы оскорбиться, — напротив, проезжая через Тверь, помнится, в 1836 г.<sup>1</sup> прислал мне с почтовой станции следующую коротенькую записку. Как увидите, она вызвана одною любезностию его и доброю памятью обо мне“».

«Я все еще надеялся, почтенный и любезный Иван Иванович, лично благодарить вас за ваше ко мне благорасположение, за два письма, за романы<sup>2</sup> и пугачевщину, но неудача меня преследует. — Проезжаю через Тверь на перекладных и в таком виде, что никак не осмеливаюсь вам явиться и возобновить старое, минутное знакомство. — Отлагаю до сентября, то есть до возвратного пути; покамест поручаю себя вашей снисходительности и доброжелательству. Сердечно вас уважающий Пушкин».

«Записка без числа и года, — замечает Лажечников. — Подпись много порадовала меня: она выказывала добрую, благородную натуру Пушкина; она восстанавливала хорошие отношения его ко мне, которые, думал я, наша переписка расстроила».

---

<sup>1</sup> Лажечников не ошибся: это было 1 мая 1836 г.; в этот день поэт видался с князем Козловским, секундантом графа В. А. Соллогуба, с которым должен был драться на дуэли. См.: Поляков А. С. О смерти Пушкина: По новым данным. Пб., 1922. С. 10, 77\*.

<sup>2</sup> К тому времени Пушкин познакомился и со вторым романом Лажечникова, — «Ледяным домом», изданным в 1835 г.

Лажечников мечтал еще раз лично повидаться с своим любимым поэтом, в котором он так высоко ставил и личные, человеческие качества, — но мечте его не суждено было осуществиться. «В последних числах января 1837 года, — заканчивает он свои воспоминания о Пушкине, — приехал я на несколько дней из Твери в Петербург. 24-го и 25-го был я у Пушкина, чтобы поклониться ему, но оба раза не застал дома. Нельзя мне было оставаться долее в Петербурге, и я выехал из него 26-го вечером. 29-го — Пушкина не стало... Потух огонь на алтаре!»

Зная чувствительное сердце Лажечникова, легко можно представить, как горько оплакивал он преждевременную и неожиданную смерть своего любимого поэта...<sup>1</sup>

Память о нем для него была всегда дорога и впоследствии, что видно, между прочим, из того, как он ценил и берег письма к нему Пушкина и как заботился об их сохранении. Когда в 1858 г. он выпустил в свет первое собрание своих сочинений, известный библиограф М. Н. Лонгинов, — служивший тогда в Москве, — поместил в журнале «Атеней» статью о Лажечникове<sup>2</sup>; последний был очень доволен отзывом Лонгинова и писал ему, что отзывом этим он «подарил ему один из самых приятных часов в его жизни»<sup>3</sup>. Желая показать Лонгинову, как ценит он его доброе о себе мнение, он писал ему: «При свидании в Москве<sup>4</sup> я попрошу вас принять от меня на память письмо ко мне Пушкина по случаю получения им моего Ледяного Дома и ответ мой на это письмо. У вас они сохранятся лучше и, может быть, когда-нибудь пригодятся»; а в одном из следующих писем — от 16 ноября 1858 г., он послал ему оба письма к себе Пушкина<sup>5</sup>. Приводим это, очень интересное, неизданное письмо, — тем более любопытное, что в нем Лажечников, между прочим, снова возвращается к тому же давнему спору своему с Пушкиным по поводу его мнения об ошибках, допущенных Лажечниковым при *обрисовке* некоторых действующих лиц в «Ледяном доме», и за-

<sup>1</sup> За месяц до смерти Пушкин вспомнил Лажечникова в письме к Н. М. Коншину, который хлопотал тогда о получении места директора училищ в Твери. «Заняв место Лажечникова, — писал ему Пушкин, — не займетесь ли вы, по примеру вашего предшественника, и романами? а куда бы хорошо!» (XVI, 202).

<sup>2</sup> Перепечатана: *Лонгинов М. Н. Соч. М., 1915. Т. I. С. 491—498.*

<sup>3</sup> Письмо (неизд.) в Пушкинском Доме, от 10 сентября 1858 г.\*

<sup>4</sup> Письмо это писано из с. Кривякина, под Коломной.

<sup>5</sup> В архиве Лонгинова, ныне находящемся в Пушкинском Доме, этих писем Пушкина к Лажечникову не находится, и куда они попали, нам не известно...

щищается от критики А. Н. Афанасьева в статье последнего «Об исторической верности в романах И. И. Лажечникова»<sup>1</sup>.

Милостивый Государь,  
Михайла Николаевич.

Посылаю вам обещанные мною письма Пушкина ко мне и комедию: «Точь-в-точь», игранную в Сибири в 1774 году. Сочинитель ее г. Веревкин\*. Прошу покорно принять от меня то и другое на память<sup>2</sup>. Ответ мой Пушкину я не нашел в своих бумагах.

Из письма ко мне Пушкина вы увидите, справедливо ли я назвал обмолвкой великого писателя слова его, что «тиранское управление Бирона было в духе того времени и во нравах народа, которым он управлял». Приняв это положение, надобно будет все злодеяние правителей отнести к потребностям времени и народа. Положим, законы, взыскивающие за преступления, могут быть издаваемы более или менее строгие, смотря по нравам народа; но никогда тиранское управление не может быть в духе времени и народа. История оправдывает иногда грозное управление государственных людей за их ум и таланты, за благодетельную для их отечества цель, к которой они стремились. Так историческая правда смотрит на дела Ришелье. Но какой великий ум и какие таланты правителя народного имел Бирон? То и другое должно доказываться делами. Что же славного и полезного для России сделал временщик? Быть может, какой-нибудь лихой наездник-историк, вроде Афанасьева, велит нам снять шапку перед его памятью за то, что он, ничтожный выходец, умел согнуть Петрову Россию в бараний рог и душил нас, как овец. Или, может статься, велит он увидеть его ум и великие таланты в мастерской езде верхом на разные манеры или в том, что он умел искусство сесть не в свои сани?.. Других памятников своего искусства *привести* он нам не оставил.

В одном из последних №№ Атеней прочел я ожесточенный разбор моих романов. В оправдание свое повторяю то, что я сказал в статье моей: «Знакомство мое с Пушкиным». Прибавлю еще, что я писал о Волынском под благородным впечатлением, окружавшем в 30-х годах могилу его, когда с восторгом повторялись известные стихи<sup>3</sup>:

.....приведи  
К могиле мученика сына:

<sup>1</sup> Атеней. 1858. Ч. 5. № 41. С. 364—378.

<sup>2</sup> Прошу располагать ими, как вам угодно.

<sup>3</sup> Рылеева, из его известной «Думы»: «Волынский». О некоторой идеализации образа Волынского поэтами и писателями, — в том числе и Лажечниковым («одним из наиболее уважаемых людей в России») под влиянием «Думы» Рылеева — пишет в своих «Mémoires» известный князь П. В. Долгоруков (Geneve, 1867. Т. 1. Р. 433). — Б. М.



Да закипит в его груди  
Святая ревность гражданина.

Сама великая Екатерина в завещании своем, приложенном к следственному делу Волынского, оправдала его: такому авторитету верить можно. Копию с этого завещания, списанную мною со всею точностью с подлинника, который я получил в 1837-м году от Жуковского, посылаю вам — на случай, если вы ее не имеете. Из нее увидите, что следствие над Волынским производилось под пытками: хороша истина, выжатая клещами и на дыбах!! достойно исторического вероятия следственное дело, произведенное таким образом!.. Если следствие напечатано кем в Трудах исторического общества — конечно, ради оправдания отчета о нем, сделанного некогда одним сильным лицом, — почему ж было не напечатать завещания мудрой государыни, из которого некоторые изречения следовало бы напечатать золотыми буквами?<sup>1</sup> Тогда права обвинителей и адвокатов Волынского были бы более уравновешены. Легко критику осуждать меня под защитой обнародованного акта, когда он знает, что другой, сильнейший документ, его опровергающий, не мог быть издан в свет. Он нападает с оружием, которое дано ему правительством в руки против человека, не имеющего права употребить оружие, которое ему запрещено. Благородно ли это? Притом справедливо ли взыскивать с меня за то, что я изобразил в 1835 году Волынского не по историческим сведениям, сделавшимся известными только в 1858 году и до сих пор бывшим под государственным секретом? И по юридическим началам закон только со времени его издания имеет силу, а не действует назад. Разве шемякинский или афанасьевский суд действует иначе! Признаюсь, виноват, кругом виноват за то, дескать, что не знал в 1835 году то, что можно было только узнать в 1858 году?

И за отрывок Колдуна на Сухаревой башне<sup>2</sup> критик ожесточается против меня. Упреки в искажении мною характера молодого Долгорукова также пристрастны и несправедливы. Напечатанные мною письма<sup>3</sup> (по просьбе книгопродавца) служили только вступлением к роману: Колдун на Сухар<евои> б<ашне>. Весь роман не был бы написан в эпистолярной форме, а в повествовательной по главам. По письму Долгорукова к Финку нельзя судить, как разовьется характер первого впоследствии романа; да и

<sup>1</sup> Вот слова Екатерины II о деле Волынского: «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дело от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел... Волынский был... добрый и усердный патриот... Смертную казнь терпел, был невинен». — *Б. М.*

<sup>2</sup> Неоконченный исторический роман Лажечникова (из жизни графа Я. В. Брюса), начало которого было напечатано в «Отечественных записках» (1840. № 6). — *Б. М.*

<sup>3</sup> Роман был начат в форме писем. — *Б. М.*

Долгорукий играет в нем не главное лицо — главные лица у меня Брюс и его племянник, женившийся потом на княжне Долгоруковой, бывшей невесте Петра II, когда она возвратилась из Сибири. В этом письме Долгорукий выражается, как мальчик, хотя и с прекраснейшими мечтами о счастье России, но более всего занятый голубою лентою через плечо, обер-камергерским мундиром и красотою девушки, с которою он стоять будет в церкви под брачным венцом. Кто не знает, что много обещавшие юноши не исполняли прекрасных надежд, которые они сулили! В письме барона Остермана к Брюсу (стр. 440 и 441-я) вернее обозначается, чего должна ждать Россия от таких людей, каковы члены семейства Долгоруких. «Пожалеешь и его [Меншикова], — пишет Остерман, — когда подумаешь, кто его заменяет. По крайней мере он был с великими заслугами Петру и отечеству, имел великий ум, испытанное мужество; а теперь его наследники... *подумать-то страшно, что за люди!*» и далее: «Предсказываю на несколько лет царство детей... Страхуюсь не без причины за творения Петра Великого. Ты знаешь отца и дядю маленького фаворита: *не великие по душевным качествам*, они захватили бразды правления. *Можно судить, куда эти возникше умчат колесницу России, если скоро не успеют сами сломить себе шею*». Почему же при том, осуждая меня по одному вступлению к роману и то по одному письму юноши Долгорукова, то есть по одной стороне медали, не вздумать взглянуть на другую сторону ее?..

Не знаю, что и сказать об оправдании Бирона критиком, по словам князя Щербатова, будто «народ был порядочно управляем, не был отягощаем налогами», когда все историки Анны Иоанновны именно и называют управление временщика тираническим, кровожадным, за жестокие истязания народа во взыскании налогов. Отчего ж ходил такой стон по земле русской? отчего ж целые селения бежали тогда в Литву? не от благодетельного же управления?<sup>1</sup> Я начинаю сомневаться, не возникла ли эта защита Бирона ради того, что сильные потомки его еще здравствуют и имеют родственные связи с сильными и знатными фамилиями русскими? Да и г-дин Афанасьев не приходится ли с родни Тредьяковскому?..

Наконец скажу, — меня судят, как биографа, как историка, а не как исторического романиста. Если бы разбирать строго исторические характеры в романах самого Вальтер-Скотта, сколько бы нашлось в них романических прирас?<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Уж не Доимочный ли Приказ свидетельствует о попечении народном?

<sup>2</sup> Право исторического романиста на отступления от хронологии и от строгого соответствия данной истории всех деталей произведений Лажечников отставал и в печати. «Исторический романист, — писал он в прологе к своему «Басурману» (Соч. СПб., 1858. Т. 5), — должен следовать более поэзии истории, нежели хронологии ее. Его дело не быть рабом чисел; он должен быть только верен характеру эпохи и двигателя ее, которых взялся изобразить», и т. д.

Не вдаваясь в печатную полемику с г-ном Афанасьевым, вот все, что я хотел сказать вам в защиту свою. Простите, если я наскучил вам ею.

Прошу верить в совершенное уважение и искреннюю преданность.

Ваш покорнейший слуга

С. Кривякино,  
16-го ноября 1858

*И. Лажечников*

Тон глубокого убеждения звучит в этом письме заслуженного писателя, — убеждения, но не пристрастия. И действительно, современники свидетельствуют, что Лажечников был совершенно чужд этого чувства, что он умел быть совершенно беспристрастным. Человек «в высочайшей степени добрый, откровенный, совестливый, нежный», по отзыву близко и издавна знавшего его К. Н. Лебедева<sup>1</sup>, Лажечников с редкою любовью и в то же время беспристрастием следил за литературою, отзываясь на все талантливое, что появлялось в ней: он, по выражению И. И. Панаева, принадлежал к тем «живым, избранным и редким натурам, которые никогда не стареются духовно и потому чувствуют всегда большую склонность к молодым поколениям. За это их не очень жалуют их сверстники и вообще все остальные люди, идеал которых не в будущем, а в прошедшем. Лажечников — едва ли не единственный из литераторов своего времени... искренно и без всякой задней мысли, с полным сочувствием всегда протягивающий руку всем замечательным деятелям последующих литературных поколений. Он располагает к себе с первого взгляда своею простотою, мягкостью, благодушием. Он настоящий поэт, увлекающийся, беспечный, исполненный фантазий, чуждый всякого практического такта, не уживающийся с действительностью и не входящий с нею ни в какие сделки...»<sup>2</sup>. Любя и почитая Белинского и пользуясь привязанностью последнего, он высоко ставил Гоголя, восторгался Тургеневым, до конца дней своих как бы оставаясь чистым и увлекающимся юношей, простосердечным, «неисправимым» идеалистом. «Почувствовавши к кому-нибудь симпатию, он отдавался ей весь, пылко, искренно, как юноша», — свидетельствует Т. П. Пассек. Одною из таких симпатий Лажечникова был, несо-

<sup>1</sup> См. его «Записки» (Русский архив. 1910. Кн. 2. С. 368).

<sup>2</sup> Панаев И. И. Литературные воспоминания. СПб, 1888. С. 275. Ср. с подобным отзывом Н. В. Станкевича (Переписка Н. В. Станкевича. 1830—1840. М., 1914. С. 335).

мненно, Пушкин, память которого всегда была особенно дорога ему: к ней относился он с таким благоговением, что когда в 1856 г. Г. Е. Благосветлов написал статью «История русского романа» и в ней отвел Лажечникову, как романисту, высокое место, последний писал А. В. Старчевскому, что «чести стоять между Гоголем и Пушкиным он не заслуживает...»<sup>1</sup>. Конечно, Лажечников был прав, отводя себе в истории русской литературы более скромное место<sup>2</sup>, но заслуженного им никто отнять не вправе: Лажечников должен считаться родоначальником русского *исторического* романа; в этом отношении он занимает почетное место в истории нашей словесности, и имя его может быть поставлено *наряду* с Пушкиным, если последнего считать родоначальником нашего *художественного* романа. Успех в современном ему образованном обществе романы Лажечникова имели чрезвычайный, по выражению одного критика — жгучий, — и похвала Пушкина, высказанная по адресу романов Лажечникова, не фраза; их долго читали и перечитывали с наслаждением; поэтому прав был Лонгинов, когда говорил, что имя Лажечникова «не умрет в летописях нашей литературы, в которые навсегда занесены: „Последний Новик“, „Ледяной Дом“ и „Басурман“».

1925

---

<sup>1</sup> Исторический вестник. 1892. № 11. С. 327; Погодин, однако, готов был ставить прозу Лажечникова (и Загоскина) рядом с прозой Карамзина и Гоголя (см.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892. Т. 6. С. 182, 184), а чуткий Н. В. Станкевич считал (1835), что Лажечников — «лучший романист после Гоголя» (Переписка Н. В. Станкевича. 1830—1840. С. 335).

<sup>2</sup> Белинский в «Литературных мечтаниях» писал (1834), что Лажечников «по справедливости признан первым русским романистом».